

Умная женщина
и глупый мужчина —
это, увы, так же
естественно, как и то,
что мужчина должен
быть умным,
а женщина —
очаровательной. Страница 105

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Философия игры, или Статус скво Философские эссе

Анатолий Андреев

**Философия игры, или Статус
скво: Философские эссе**

«Автор»

2012

Андреев А. Н.

Философия игры, или Статус скво: Философские эссе /
А. Н. Андреев — «Автор», 2012

Цивилизация эксплуатирует человека как биосоциальное существо; его информационные и, так сказать, «духовные» возможности в принципе известны. Пора бы переходить к культуре. Но закон сохранения информации предполагает и некое сопротивление информации более низкого порядка при переходе на более высокий уровень. Это вполне естественно: управление информацией с более высоких этажей представляет собой подчинение (буквально: силовое завоевание) низших информационных слоев высшим. Вот почему тело подчиняется душе, душа – разуму (по норме, в идеале). Но ведь и разум зависит от души: феномен «помутнения» разума, феномен информационного сбоя, не такая уж и редкость.

Содержание

Введение	5
Парамонов: «конец стиля» – конец мышления?	7
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Андреев А.Н

Философия игры, или Статус скво

Философские эссе

Введение

Культура цивилизации

Субъект и объект цивилизации – человек как существо биопсихосоциальное. Человек как существо биопсихосоциодуховное – это уже объект и субъект культуры. Гении «культуры цивилизации» воспели и оплакали «биосоциала»; человека разумного, духовно-социального (хотя и рожденного матушкой природой) культура по-настоящему еще и не познавала.

Стоит понять это, как логика развития цивилизации и культуры видится почти элементарной. А самое главное – логика развития человека, возможности и перспективы его развития.

Разными словами, терминами, освещающими разные аспекты с разных сторон, мы говорим об одном и том же. Два языка культуры, психика и сознание, два типа управления информацией, цивилизация и культура, натура и культура, женское и мужское, литература и философия, искусство и наука, образы и понятия, приспособление и познание, душа и ум – все это суть два разных информационных комплекса, взаимосвязанных и взаимозависимых, составляющих так называемое человеческое измерение. По закону целостности, по закону сохранения информации, говоришь об одном – имеешь в виду все остальное. Чтобы понять (воспринять) одно – необходимо разбираться во всем. Вот почему так сложно понять элементарное.

Человек – информационная пирамида. Сгусток многослойной и многоуровневой информации. Венец Вселенной. Как это следует понимать?

Закон сохранения информации – это закон сведения частных проявлений ко все более общим. В этом смысле диалектический переход количества в качество – это модус закона сохранения информации. Химическая информация порождает биологическую, биологическая – психическую, психическая – духовную. Это и есть структура информационной пирамиды. Тут вам и механика, и органика. А теперь учтем, что, скажем, психическая и уж тем более, духовная информация в свою очередь являются пирамидами в пирамиде. Просто человек, любой человек – это невероятная информационная целостность. Научи его говорить, читать, писать – это уже феномен. Приличный человек – на порядок выше. А разумный человек, личность – это в полном и точном смысле Венец Вселенной. Более высокой организации «информационной материи» просто не существует (по крайней мере, людям об этом ничего не известно). Следовательно, что должно быть главным объектом изучения во Вселенной? Человек, превратившийся в личность. Не физика и химия – а физика и химия в их отношении к духовности. Что мы имеем в реальности?

Цивилизация эксплуатирует человека как биосоциальное существо; его информационные и, так сказать, «духовные» возможности в принципе известны. Пора бы переходить к культуре. Но закон сохранения информации предполагает и некое сопротивление информации более низкого порядка при переходе на более высокий уровень. Это вполне естественно: управление информацией с более высоких этажей представляет собой подчинение (буквально: силовое завоевание) низших информационных слоев высшим. Вот почему тело подчиняется душе, душа – разуму (по норме, в идеале). Но ведь и разум зависит от души: феномен «помутнения» разума, феномен информационного сбоя, не такая уж и редкость.

Это означает, что с появлением разума де факто, по логике порядка вещей, началась «война» (силовое столкновение) против психологического управления информацией. Иное

дело, что со стороны разума как более высокой и «ответственной» за все точки пирамиды гарантируется некий неприкосновенный порог гуманности; психика же в силу своей информационной ограниченности или, если угодно, беспринципности будет сражаться до последнего. До смерти. Для разума (впервые в жизни!) жизнь не есть предмет торга, ее приоритет, ее информационная ценность абсолютны; для психики как высшего уровня самой органики, собственно, жизни как таковой, жизнь ничего не стоит. Не к психике, душе и всевозможным душевным проявлениям (как-то: милосердию, состраданию и т. п.) надо апеллировать человеку, а – к разуму.

Вот точно и локально обозначенная проблема: проблема перехода от цивилизации к культуре – это проблема перехода от психологического к разумному типу управления информацией. От человека – к личности. При этом ожидаемое сопротивление психики, вооруженной интеллектом, видится как почти непреодолимое.

Такова проблема человека в информационной плоскости.

Все это означает: мы еще только начинаем жить, не понимая, что живем вчерашним днем. А будущее – вот оно, рукой подать.

Все идет своим чередом, естественно и последовательно. Человек биопсихосоциальный создал то, что, собственно, и мог, и призван был создать: цивилизацию. Это его информационный предел. Здесь некого ругать, ибо не за что: когда не ведают, что творят, персональная ответственность просто не может возникнуть.

Другая сторона информационных возможностей универсума: человек, возможно, не желая того, вплотную подошел к созданию личности. Хочется похвалить его за это, однако и здесь не проявляется его персональных усилий. Пока что это безликий и бесконтрольный процесс. И тем не менее сквозь тьму цивилизации пробиваются ростки культуры. Культура цивилизации становится реальностью.

Вот эта маргинальность, информационная подвижность и переход сквозь границы информационного качества (от душе – к разуму), постоянная утрата некой самоидентичности, размывание природы субъекта (то ли человек, то ли личность? и не кощунственно ли противопоставлять эти «субъекты» один другому, душу – уму? разве они не едино суть?) смущают не только душу, но и разум. Эта вершина пирамиды дается нам с большим трудом.

Но уж если сражаться, то сражаться всерьез. У разума есть подлинный стимул: защита жизни отныне становится прерогативой разума, культуры, личности. Неважно, что человек этого не понимает и не поймет никогда. Важно то, что большие цели рожают большой энтузиазм. Ведь став личностью, человек не перестал быть человеком, равно как, скажем, став взрослым, мы не перестаем быть детьми или подростками, или юношами. В принципе в любой момент мы можем побыть детьми, актуализировать в себе «тот», давно пережитый и освоенный, информационный комплекс. А потом без ущерба для души и сознания возвращаемся в свои нынешние берега. Мы едины от сотворения мира, и в то же время – несем в себе разные, «душераздирающие» и «умопомрачительные» начала. Здесь нет загадки, здесь есть проблема понимания.

Человеком всегда двигали великие иллюзии, но никогда еще они в такой степени не были похожи на тень истины. Либо назад, в пещеру, либо вперед, к личности.

Личность, конечно, создаст свою «Библию», свой свод писанных и неписанных законов, отражающий потребности новой информационной реальности, – создаст, если осилит своего главного «врага» – человека. Пока что личность вынуждена чтить чуждое ей Евангелие. Как говорится в эпоху цивилизации, со своим уставом нечего соваться в чужой монастырь. Из культурного будущего (которого может и не быть, но которое в принципе возможно, согласно закону сохранения информации) контрапунктом доносится: а соваться-таки надо. Гибко, тонко, не мытьем, так катаньем – но надо.

Это и есть главная заповедь культуры цивилизации.

Парамонов: «конец стиля» – конец мышления?

1

Книга Б.М. Парамонова «Конец стиля» (М. – С-Пб., 1999), несмотря на бравую недialeктичность названия (впрочем, идеально отражающего содержание), читается захватывающе, как детектив, то есть как интеллектуальный ребус.

Чем привлекло меня вышеозначенное сочинение?

Во-первых, хочется отдать должное (а отдавать должное – моя слабость) лихой раскованности, даже бесшабашности, местами почти свободе мыслей и концептов. Привлекло прямо-таки завидное умение дерзко называть вещи своими именами, «остранивать», заземлять красоту, эту циничную содержанку. Не книга, а восхитительный сеанс окончательной детабулизации, снятия ограничений, срывания масок и смиренных рубашек с культуры. А где стыдливо покоились фиговые листочки (их, кстати, и срывать не надо: опадают при лёгком прикосновении)? Интимные места человечества хорошо известны: секс, еврейство, тоталитаризм (как-то: фашизм, коммунизм), святость искусства, культуры (бога почтенный Борис Михайлович почему-то старается обходить стороной. Так есть бог или нет, Борис Михайлович?). Получился этакий эротический контакт с культурой.

Во-вторых, сам «свободный», преодолевший цензуру культурных репрессий и табу тон является как бы вызовом моей концепции, рядом с книгой Парамонова превращающейся в реликтивно-репрессивного монстра. «Моей» – можно было бы и пережить. Но для меня «моя» означает «не моя», а научная, претендующая на объективность, ничья. Если бы я не прочитал «Конец стиля», то наивно сказал бы «вызовом культуре», но теперь-то я понимаю, что вызов культуре и есть условие освобождения человека. Становится мучительно больно за бесцельно прожитые. Собственно, меня и не просили беспокоиться и постоять «за культуру», однако слишком уж лакомый кусок передо мной. Не устоял. Надеюсь, Борис Михайлович меня поймёт: эгоизм он числит большим достоинством человека, собственно, единственным. Вот и я туда же. Впрочем, может быть и такое, гораздо менее (или более?) романтическое объяснение: комплекс провинциала. С другой стороны, когда караван культуры повернёт назад, хромой верблюд окажется первым. Где провинция, где столица? Кто знает? Думаю, моя растерянность импонировала бы Парамонову как еще одно доказательство нежизнеспособности репрессивной культуры, загнавшей себя в тупик. Слабым утешением остаётся то, что никто не смеётся в этом мире последним.

Психоанализ уместен там, где исследовать приходится феномен «чистой» идеологии, т. е. постигать то, как реальные потребности прикрываются фальшивой мотивировкой, сублимируются. Тогда флер идеологии развеивается «как сон, как утренний туман», и мы вновь лицезреем прелести природы, натурхама или, без экспрессии, человека. Тот ли перед нами случай, когда на каждого мудреца Фрейда найдётся свой психоаналитик? Уместен и оправдан ли разговор о концептах, мифологемах и философемах Парамонова в психоаналитическом ключе? Иначе: что перед нами: дурной сон идеологии или...

Или – это не обязательно собственно интеллектуальная система идей, собственно философия, теория познания; это может быть и некий отважный реализм, который противостоит всем идеологиям, но сам не является их преодолением, просто выигрышная оппозиция культуре – натурой (собой, собственным жизненным опытом: «Худшее из лицемерий – отрицать свой собственный опыт» («Дом в пригороде»)).

Что ни говори, а Парамонов занял круговую оборону (часто тактика такой обороны – нападение), ибо тема и исток этого блестящего ума (фундаментальные умы редко бывают столь блестящи: не всё золото, что блестит; кстати, в книге это доходчиво разъяснено) – *культуроборчество*. Сам баррикадный импульс ассоциируется с чем-то вроде «ты борешься, Боря, – следовательно, ты не прав». Жизнь выше морали, искусства, культуры – вот тема Парамонова. Живой человек (а всякий писатель и поэт, даже философ – живой человек, и творчество в известном смысле есть проекция живой плоти в знаки), «живой» (см. замечательную главу об Эренбурге «Портрет еврея») в отличие от пригнетенного и изувеченного культурой так влечёт биофила Парамонова. И вот его культуроборческое сознание выискивает жемчужные зёрна жизни в навозе культуры, в «говне» мысли, как изволил выразиться острый на язык автор. Этим объясняется зачастую поразительное мелкотемье для столь масштабного замаха. Гора рождает мышь, но зато какую мышь: способную колотить золотые яйца.

Начать с того, что автор выступает за демократию-постмодерн как способ нивелирования культуры в совершенно недемократическом, элитарном – концептуальном, следовательно, культурном – ключе. Значит, его вряд ли поймут те, кому это адресовано. Зато книга интересна тем, кто не равнодушен к культуре мысли, кто разделяет с Парамоновым слабость подвергать критическому рассмотрению всё, даже антипатии к большевикам и симпатии к постмодерну.

Книга в своём роде великолепна и неуязвима. Следуя принципу «остранения», смещая угол зрения и, соответственно, семантические пласты (вслед за Шкловским остранение трактуется «как способ обновлённого переживания бытия»), автор всегда будет прав, ибо разные пласты действительно-таки присутствуют. Остранение эффективно работает только применительно к идеологии, в том числе и в первую очередь – к искусству. Это забава, основанная на возможности сдвига идеологического восприятия в иную столь же идеологическую плоскость, и потому она действительно может считаться «странным» способом познания. «Остранение» выступает каким-то неполноценным видом познания: оно ничего не объясняет, а только оглупляет процесс познания; надо быть «сдвинутым», чтобы так познавать, и приготовиться к тому, что итогом познания будет серия сдвигов, не более того.

Нерепрессивность культуры, строго говоря, понимается как возможность сдвига, идеологических подвижек. При этом в остранение, понимаемое не только как технология, но и стратегия, заложен вектор движения: от иллюзий – к реальности. Спектр же и логика сдвигов-остранений не интересуют эту постмодернистскую потеху, ибо «спектральный» анализ отдаёт уже репрессией, внесением порядка пусть и в бесконечную, но всё же поддающуюся упорядочению «странную» стихию.

Таким образом, «остранение» можно интерпретировать как в свою очередь идеологическую функцию сознания, функцию освобождения из идеолого-репрессивного плена – с целью познания?

Нет, с целью освобождения. На этом точка. Логика реальности осознаётся как приговор искусству, словно искусство не является моментом реальности, плотью от плоти, пусть даже искусство действительно искажает или, если угодно, сублимирует реальность. Если искусство есть, значит, оно кому-то нужно. Это не каприз, а потребность. А потребность нельзя взять и отменить (как водится под предлогом борьбы с репрессиями).

Остранение (его апологеты-парадоксалисты должны оценить иронию ситуации: они первые угодили в ловушку, уготованную для простаков от репрессивной культуры) выступает недialeктическим актом дискредитации искусства как феномена ложного, вредного, вуалирующего суть человека и тем самым отвлекающего его от прямого назначения, а именно: борьбы за существование, за хлеб насущный. Вспоминается Пётр Великий, который варварскими способами боролся против варварства, тож прорубая окно в Европу.

Дискредитация, однако, не есть познание, также как и остроумие с эрудицией не есть аргумент (тут мы немного забежали вперёд).

Если «остранить» сам принцип «остранения» («пусть странен я, не странен кто ж?»), мы с грустью увидим в нём давно известную элементарную диалектическую шноровку, не более того. Грусть, понятное дело, надо расценивать как форму сочувствия Колумбу от культуры, вдруг обнаружившего, что открытый им материк давно известен, нанесён на карту, обжит и освоен. И всё, о чём так хлопочет Борис Михайлович, становится действительно смешно, как он и старается в этом уверить всех, а прежде всего самого себя. Sorry. Парамонов впечатляет шизофреническим умом и сумасшедшей адекватностью его воплощения. Блестящие выпады и эскапады делают этого супервиртуоза, интеллектуального д'Артаньяна неподражаемым. Он обаятелен даже в глупости, даже в идиотизме (что при желании можно считать признаком ума). Он сумел поставить дело так, что его и заподозрить в глупости – компрометантно. Себе дороже. И всё же Борис Михайлович прежде гениален, а потом (потому) умён. Иначе говоря, он (по большому счёту) схож, типологически подобен тем культурным героям, которых он неутомимо и методично, хотя и несколько однообразно, одним и тем же финтом свергает с пьедесталов. Возникает впечатление, что сам он как человек, чрезмерно ангажированный культурой, мстит ей за то, что она отвлекает его от дела жизни (т. е. от самой жизни). Пафос его довольно-таки ядовитой книги – деконструктивен, смертоносен, несмотря на то, что метит он в культурные оковы, удушающие жизнь. Жизнью жизнь поправ?

Культура – штука тонкая, и связь её с натурой, с которой они срослись пуповинами, настолько банально кровна, что истребляя культуру – испепеляешь жизнь. Стоит ли играть головой Гоголя в футбол («головой Гоголя нужно играть в футбол», настаивает Учитель, загадочно выступающий за искоренение самого института «учительства»)? Не приходило ли в голову Парамонову то простое соображение, что её, голову, можно использовать и по-прямому назначению – думать?

Однако объяснимся. «Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно», по словам поэта, представителя, правда, репрессивной культуры. Над чем же смеётся раскрепощённый Борис Михайлович? Надо всем, кроме, кажется, антисемитизма и того фантома, который и он с почтением именуется Бог. Злой пересмешиник, Парамонов сам попадает в смешную ситуацию, когда то ли он смеётся, то ли над ним смеются (и это не тот случай, когда способность смеяться над собой – первый признак ума: над тобой смеются не вслед за тобой, умным, а опережая тебя, недалёкого). Смеяться надо всем – значит игнорировать гениальную дифференциацию Спинозы: не смеяться – а понимать; это значит смешивать научное и эмоционально-оценочное (идеологическое) отношение, т. е. ставить телегу впереди лошади, что, согласимся, смешно. Генеральная, сквозная установка книги элементарна, как хлопоты кобеля: культура – ложь, а правда – в инстинктах. Вот почему русский неоницшеанец неутомимо ёрничит: дескать, все, все кривлянья и гримасы культуры сводятся (через психоанализ или же минуя таковой) к простым и честным импульсам, исходящим из зоны жизни, из нерепрессивной тяги «потрахать», то есть из того, что находится по ту сторону морали, по ту сторону добра и зла. При этом диалектика взаимоотношений репрессивной – нерепрессивной культур его мало интересует, оттого так скудна палитра эмоций: от зубоскальства до скалозубства.

Самое интересное – прав Борис Михайлович, но как-то так прав на 50 %, что сразу и не поймёшь, правду говорит он или врёт (бессознательно, конечно, врёт, оказываясь сапожником (психоаналитиком) без сапог (во власти бессознательного)).

А всё из-за пренебрежения культурой. Та данность, что человек есть скотина и грязное животное – хорошо известна (виноват, известна, но плохо усвоена, и в этом смысле просветительский культурный подвиг Парамонова следует оценить по-достоинству). Но вот остановиться на «этом», сложить лапы и в «эпатажном» стиле покуражиться, объявив признание «этого» единственно возможным прогрессом – не есть ли это перебор, то самое классическое расшибание лба, когда требуется-то всего лишь соблюсти ритуал моления?

Понять культуру – не значит отвергнуть культуру. Сама эссеистическая форма уместна там, где речь идёт о научно-популярном изложении материала (для тех, конечно, кто видит разницу между наукой и её адаптацией к человеку из народа, излюбленному герою антибольшевика Парамонова). Борис Михайлович даже и весьма популярен (положение обязывает?), и даже сама «темнота» изложения снискивает ему популярность (народ охотно верит тому, чего не понимает). А как обстоит дело с научной стороной популяризируемых взглядов?

Мне по душе метод Парамонова: за деревьями видеть лес, за частным – общее. Поэт действительно *всегда* больше, чем поэт, ибо в его творчестве сказывается больше, чем он сказал (поэзия ведь глуповата, и поэт не ведаёт, что творит). Отдавая должное Борису Парамонову как поэту культуроборчества, воспользуемся возможностями метода.

2

Архетип ситуации, бесконечно воспроизводимый в книге (все разные культурные сюжеты – об одном и том же): культура, тем более культура высокая (речь идёт в основном о художественной культуре), есть гнусная и лицемерная сублимация. Она заслоняет жизнь, уводит от жизни, неверно её интерпретирует. Фокусы психики причудливо отливаются в монолит идеологии, и потому венцом теории познания выступает психоанализ, распутывающий эти психоклубки и показывающий их виртуальную природу. «Ах, Вася, скажите, отчего это соловей поёт? – Жрать хочет, оттого и поёт»: таков, в интерпретации Парамонова (цитата – из Зоценко), немудрёный культурный механизм сублимации. Или (из Чехова): «Если зайца долго бить по голове (репрессировать – А.А.), он и спички научится зажигать» (т. е. овладеет неким культурным навыком). Вывод: «бедный заяц Бердяев» («–121», статья о взаимоотношении гомосексуальности с культурой). Смысл: бердяевский вариант экзистенциальной философии – «вариант гомосексуальной маскировки». Соответственно, «творчество – это индивидуальная смелость, превращающая комплекс в норму». В таком случае какова *ценность* сублимации, творчества художественного, и даже научного?

А никакой, естественно. (Тут нужна не смелость мысли, а смелость «голового короля», уверенного, что «сдвиг» есть норма.) Никакой. «Творчество при таком понимании демистифицируется, любая жизнедеятельность, требующая усилий, становится ему равна.» Хочется воскликнуть: «Ой ли, Борис Михайлович? Любая ли? Равна ли?»

Но мы сохраним, как нам и предписано, мину серьёзно-репрессивную, не будем выбиваться из стиля, не станем скоморошничать, а спросим ответственно: а как Вы измеряете тщету духовных усилий золотаря, золотопромышленника и златоуста? Вы что же, *всерьёз* полагаете, что деньги, этот всеобщий эквивалент, не пахнут? «Жизнь выше морали» и «жизнь, имеющая моральное измерение, которое не подавляет жизнь, сообщая ей, вопреки умозрительным опасениям, высшее витальное качество» (это уже моя позиция) – всё едино? Весь мир бардак, все люди, понимаешь, не люди, так что ли?

И Вы предлагаете закрыть проблему уже самим фактом наличия жизни? Вначале была жизнь, а слово было о жизни, и слово было глупым, потому как сублимированным. И всё?

Как говорят в таких случаях, не густо. А ещё культурные люди выражаются так: мне кажется, коллега несколько неправ, утверждая, что Земля имеет форму чемодана. Мне тоже, признаться, кажется, что Борис Михайлович несколько того, хватил лишку.

В сущности, перед нами либо религиозное сознание в его авангардном варианте (так сказать, дань просвещённому времени), либо вульгарный материализм, который вполне может быть формой сознания религиозного. Парадокс-с.

Послушаем, однако, Парамонова дальше (цитаты, и предыдущие, и несколько последующих, взяты из программного эссе, давшего название всей книге): «Ценность человека определяется фактом его эмпирического существования, и демократия не считает себя вправе

предъявлять ему дальнейшие – культурные – требования, вырабатывать в нём нормальное, нормативное «я». Фактичность и есть ценность, это данное, а не заданное, наличествующее, а не долженствующее быть». Звучит прогрессивно. А вот ещё: «Стиль бесчеловечен. Стиль идеологичен, как всякое мировоззрение, но демократия принципиально отвергает мировоззрение, идеологию, она занята исключительно решением текущих проблем, её метод – частичная социальная инженерия (Карл Поппер)». Что мне здесь нравится, так это честность. О масштабности личности Бориса Парамонова можно судить уже по масштабности заблуждений. Цель литературы «как формы сознания» – её конец («Ной и хамы»). Или вот ещё цитата («Ион, Иона, Ионыч (конец русской литературы)»): «Литература – русский коллективный невроз», и «патогенная его подоснова несомненна». После таких автопсихоаналитических пассажей, надо полагать, Парамонов – это никакая не литература, книга его не книга, да и поэт он не настолько, чтобы прописаться там, где «местопребывание поэзии». Обсудим и это.

А вот уже, судя по всему, осиновый кол в гроб литературы как культуры («Голая королева»): «Высота художественной культуры находится в прямо пропорциональной связи с угнетённостью и отсталостью масс» («Пушкин стоит псковского оброка»: преподносится как цинизм «барственного эстета» Герцена; на самом деле читай «не стоит». Стоит – или не стоит, или – или: вот по какой познавательной технологии изготавливался кол. Грубая работа.) «В высокой культуре страдают и народ и творец»; «современная культура» же «борется со страданиями, хочет избавить людей от страданий. И это избавление происходит за счёт духовных вершин: меньше страданий, но меньше и вершин». Читая такое, хочется воскликнуть: Парамонов себя под Лениным чистит – не в смысле стиля, нет, в смысле овладения всем идейным богатством мировой культуры. Но зная, как Парамонов относится к Ленину и культуре, я удержусь от восклицания. Вот такой «демократический поворот» темы (глава из цитируемой работы называется «Демократия как эстетическая проблема»). «Эстетика демократии – (...) то, что называют «постмодернизм».

Отсюда следует («Красное и серое»): Коммерциализация искусства – громадный культурный сдвиг» (чем хуже для духа – тем лучше для человека, ибо, как выяснилось, человек и дух – не едины суть). Или: «Учитесь торговать – и вы спасётесь», т. е. искупите культурные грехи («Поэт как буржуа»). Продолжим «Красное и серое»: «нерепрессивная культура» видит свою задачу в том, чтобы превратить человека «не в гражданина, а в потребителя». «Высокий художник служил эксплуатации потому, что закреплял нормативность культуры в творчестве красоты. (Нет, всё же обширна тень Ильича! – А.А.) А жизнь некрасива, и в этом качестве имеет право на существование. Это и есть радикальнейшее из прав человека: право быть собой в своей эмпирической ограниченности, жить вне репрессий нормы». Вот она, «радикальная смена духовных вех» («Бессмертный Егорушка»). Ей-богу, Борис Парамонов с его тягой к отчётливости и недвусмысленности формулировок мог бы претендовать в культуре на большее, нежели на «интеллектуальный эпатаж».

В таком идейном контексте Парамонова интересует Гоголь как отец «заброшенного дитя России – Чичикова», «поэта-буржуа»; Чехов как «самый настоящий мелкий буржуа» и «провозвестник буржуазной культуры» (призывающий «дуть в рутину»); Зощенко, проза которого – «ступень в становлении русского демократического сознания», ибо он был «певцом человека труда», «потребителя», человека, взятого «в своей эмпирической ограниченности»; Леонов, вызывающий «невольное восхищение», любопытен тем, что «разочаровался он в искусстве как высшей форме культурного бытия» и из «самого искусства, из этого священного безумия, сделал форму доходной деятельности!» («Бессмертный Егорушка»). И Шкловский, и Стивен Спилберг, и Эренбург, и Чапек, и Цветаева интересны в непоэтической, допоэтической, некой первозданно-жизненной ипостаси, как вариации на тему «жизнь не только вне морали, но и вне культуры» («Солдатка»).

Вырисовывается цепочка, замыкающаяся в круг: *постмодерн*, где реализован «конец стиля», – *демократия* как проекция постмодерна (и даже – *христианства, религии* в широком смысле, см. «Пантеон: демократия как религиозная проблема»: «в нашем контексте демократия обретает если не религиозный смысл, то соотносённость с религиозными содержаниями»), – *потребитель* как субъект демократии, – *еврейство* как идеальная – пластичная, счастливо избегающая определённости – человеческая субстанция, без зазора стыкующаяся с демократией, плюрализмом, потребительством и постмодерном, – *культура*, где «приватизация бытия» разрывает цепи репрессивных норм и оборачивается «концом стиля» – где властвует антикультура, *натура*... «Флора и фауна дают урок постмодернизма» («Конец стиля»).

Таков «культурный проект» Парамонова, хотя сам он в стиле «диалектического материализма» скромно отводит себе стороннее место в истории (в парадоксальном соответствии с антимарксистским постулатом: «личность формируется утратой исторического горизонта», здесь и сейчас): «моё «разрушение эстетики» – только усиленная констатация свершившихся фактов (жизнь идёт своим путём, отвергая навязываемое ей «высокой культурой» – А.А.), а моя ересь в том, что я эти факты не осуждаю, а приветствую». Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую... Как не поэт? Поэт, поэт – уже в силу диалектики единичного и всеобщего: каждый человек поэт, еврей и демократ. И коммунист. И скромничать нечего: книга – «о поисatine фундаментальных сюжетах бытия и культуры» («Зоценко в театре»).

Радикальный нюанс в качестве контрверсии: осуждение равно как и приветствование фактов и называется идеологией. Несмотря на то, что Борис Парамонов пытается философской скороговоркой фундаментально, именно культурно легализовать свой проект, рассуждая о «демократическом мышлении» и «демократизации знания», суть которых сводится к «проблеме редукции», т. е. «сведении высшего к низшему», что парадоксально именуется прогрессом (психоанализ Фрейда понимается как механизм и инструмент подобной редукции «духа к сексу») («Голая королева») – несмотря на это мы имеем дело с классическим феноменом идеологии, с маскировкой «под науку» и со всеми вытекающими отсюда репрессиями.

«Время не переспоришь», считает чуткий к веяниям эпохи Парамонов, и считает это убойным аргументом. Поэт, конечно, поэт.

Спорить со временем не следует: к чему бесплодно спорить с веком (а вот это сказано уже не поэтически, умновато для поэзии)? Время надо понимать.

3

Конец стиля, конец организации и *определённого порядка, который источает определённый смысл*, – означает конец разумного отношения. А конец разумного отношения (чаемый закат «репрессивной культуры») означает начало свободной от «репрессий» разума – но подчинённой зависимости от неразума, инстинктов, эпохе. Природа не терпит пустоты. Отмена культурной репрессии означает репрессию природы. «Где начинается эклектика, там зарождается свобода» («Конец стиля»). Всё это, видите ль, слова, слова, слова, т. е. постмодерн. Эклектика как форма свободы от культурного порядка одновременно есть форма зависимости от хаоса природы, иными словами от порядка куда более бесчеловечного.

В постмодернистских эпатажах, претендующих на суперноваторство, поражает прежде всего дефицит новизны. (Кстати, эпатаж, эксгибиционизм – это ведь не столько культурная, сколько психоаналитическая проблема. Однако оставим сей скользкий сюжет. Кстати, Борис Михайлович на нем несколько раз самоуверенно поскользнулся, а может и упал. Но оставим.) Вдоволь нахохотавшись над психической, иррациональной (выдаваемой, заметьте, за разумную) потребностью в отыскании ограниченного числа простых и вместе фундаментальных законов, «норм», исходя из которых можно было бы распутывать все сложности мира, постмодернисты попали под власть другой психической потребности: отречься от разумного отно-

шения и остаться с чувством вселенского абсурда, т. е. с чувством жизни. Или – или. Что же в этом принципиально нового или революционного?

Не нова не только «проблема», но и выход из метафизически сработанной ловушки указан уже давно. Его усматривают в диалектике конечного и бесконечного, единичного и общего, простого и сложного, порядка и хаоса и, следовательно, репрессивной и «нерепрессивной» культуры. Диалектически воспитанный ум (иначе: возвращенный в традициях репрессивной культуры; то, что называют умом, можно вырастить только в культуре, детище ума – т. е. в среде по определению репрессивной, круто замешанной на стремлении к порядку, если угодно, на желании за деревьями увидеть лес), верный принципу единства, взаимоперехода и взаимодополнительности противоположностей, не допустит абсолютизации ни одной из них и не станет одну интерпретировать полностью через другую или, напротив, закрывать глаза на их взаимопроникновение. Постмодернисты допустили такое – и оказались в ситуации намного более смешной, нежели та, над которой они потешаются: «конец стиля» и «конец репрессивной культуры» они приняли за чистую монету. Для них условием победоносного шествия нерепрессивной культуры стало отсутствие культуры репрессивной. Вот и поспешил наплевать в колодезь, из которого ещё пить и пить («петь» в его понимании), неосторожный, поверивший, по сути, в конец света Борис Михайлович Парамонов. И напрасно.

Если уж говорить о новаторстве постмодернизма, то заключается оно в новых акцентах в рамках «старой», традиционной теории познания, а именно: диалектические превращения, как обнаружили пересмешники, граничат с абсурдом и то и дело трансформируются в него, как курица и яйцо. Постмодернистский ум – это ум, вкусивший диалектики, но не справившийся с ней, изувеченный ею и, в результате, ум капитулировавший, объявивший внерациональное (нерепрессивное) постижение (ощущение) реальности Абсолютом. Согласимся: сводить всё к матрице универсалий и не считаться с «генетикой» особенного и единичного, этой священной для любого постмодерниста категории, – грубая интеллектуальная халтура; но не видеть за отдельным закон всеобщего (за деревьями – лес) – это невежество. Вот у Парамонова много, очень много деревьев, а лес жидковат. Патологическая эрудиция, избыток информации явно ослабили методологическую (репрессивную, однако) узду.

Вот уж поистине: все разумные дороги ведут в пучину бессознательного. Бессознательное никогда не врёт; но оно никогда не скажет правды. Тривиальность концепции, отменившей концептуальность как таковую, порождена младенческим лепетом интеллекта. А мало интеллекта в определённом смысле означает много стиля, художества, красоты. Со стилем трудно быть последовательным, ибо последовательность в данном случае означает диалектичность, ту самую божественную непоследовательность, которой так не хватает «воителю» Парамонову. У него искусство выступает всегда и только противовесом жизни, т. е. как феномен идеологии. Борис Михайлович в упор не замечает того, что как феномен эстетики, той самой чистой эстетики, которая, вроде бы так нравится Парамонову, демократическому эстету, как «игра», «божественный пустяк» – искусство целиком и полностью на стороне жизни.

Таким образом, прежде чем грубо манипулировать функциями искусства (демонстрировать, в сущности, тот же социологизированный, т. е. марксистский подход, только с точностью до наоборот, вывернутый наизнанку, а изнанка социума есть не что иное, как «флора и фауна»), следует разобраться с природой художественного сознания. Таковая природа и в Америке природа, демократии или фашизмы, евреи, русские и гомосексуалисты (а также коммунисты) не могут изменить природы.

«Путь разума завёл меня в беду, теперь путём безумия пойду...» Счастливого пути, как говорится. В качестве напутствия хочется сказать следующее. Конец стиля ещё не означает конец эстетического, а вот конец эстетического именно означает конец стиля. Не торопитесь, а то успеете. Конец стиля – начало научного отношения, в свете которого игры в репрессивную или демократическую (нерепрессивную?) культуру гроша ломаного не стоят. Абсурд, хаос,

ненорма как были, так и остались моментом диалектики – моментом, цементирующим порядок, а «репрессированные культуристы», оказавшиеся на свободе, качают свою интеллектуальную мышцу просто так, в стиле «силы ради силы», ничуть не ностальгируя (боже упаси!) по нормативности порядка. А если и ностальгируют, то это уже бессознательно, и разум здесь не при чём.

Возразим: само бессознательное вычислено по технологии разума и является ничем иным, как моментом сознания, сам постмодерн с его открытием «репрессивной» культуры есть продукт (хотя и неполноценный) разума...

Впрочем, всерьёз дискутировать с постмодерном, «репрессировать» вольный, свободный от пут разума народ, абсолютизирующий психический, иррациональный компонент свободы, всё равно что преподавать логику в дурдоме. Сумасшедшие всегда правы.

4

Я в восхищении от философских замашек (может быть, лучше сказать манер? Нет, манеры – это пристало барственному интеллектуалу Герцену, у демократов должны быть замашки: сохраним диктат стиля) Бориса Парамонова, который с вальяжностью маэстро, постмодерново, мгновенно разгребаёт вековые философские завалы. В случае если теория какого-нибудь Гегеля противоречит его, Парамонова, младо- (и мало-) интеллектуальной концепции, тем хуже для теории какого-нибудь Гегеля. Просто, походя, не оставляет камня на камне. Творит чудеса, я бы сказал, имея в виду именно то, что сказал: творит чудеса, фантомы, не имеющие отношения к реальности. Ведь по большому счёту основная претензия к культуре – обвинение её в репрессивности, заданности (из лучших, конечно, побуждений) – это претензия к тому компоненту культуры, который называется *разум*. Отнюдь не коммунизм или фашизм с их бесчеловечностью так беспокоят Бориса Михайловича (это была бы мораль), а то, что общества эти были сработаны «под идею». Неважно, хорошую или плохую, идея плоха уже тем, что она идея – субстанция, противостоящая жизни. Идея – это порядок и иерархия. Вот против внесения в жизнь какого-то бы ни было, пусть мало-мальского порядка и направлена главная идея книги Парамонова. И тут «один из самых оригинальных и острых мыслителей современности» (так указано на обложке остроумной книги) выступает с самыми банальными нападками на культуру. Он, обжёгшись на молоке идеологии, даже в искусстве видит прежде всего идеи, отсюда – фобийная тяга к искусству как «игре». Его культурными героями-мыслителями становятся невразумительные Бахтин, Шкловский, Хайдеггер, в мыслители попадают женщина (Палья), русские религиозные путаники – всё публика, так или иначе дискредитировавшая мысль, рациональный подход как таковой. Особенно, конечно, нравится психоанализ: жрать хочет человек, потому и поёт (то бишь думает). Психоанализ тем хорош, что, подумав, приходит к заключению: думать всегда вторично, производно, факультативно. Первичны базовые инстинкты. Секс стал едва ли не главным героем книги, в смысле главным контрагентом, противостоящим интеллекту. Редукция «мозга к паху» (с восторгом цитирует Парамонов поэта) – вот тема книги.

Ну, что ж, это действительно главная тема культуры, только с поправкой: не мозг с пахом являются главными «субъектами» и «производителями» культуры, полюсами, смыкающимися в целостность (редукция по Парамонову – это какая-то ньютоновская механика, скрещённая с павловской физиологией), а психика и сознание, душа и ум, моделирующее и рефлектирующее сознание. И до сих пор именно искусство, продукт сознания моделирующего, противостояло собственно мыслительной деятельности, а у Парамонова оно же, искусство, и стало главным носителем идей, умом и сознанием. Какой-то озадачивающий, совсем уж редуцированный парадоксализм.

Таким образом, под одну гребёнку сострижено всё в культуре, где только шевелятся зародыши мыслей. Собственно, кастрирована сама культура. И остроумие провозглашено де факто высшей формой мышления.

Теоретически книга не дотягивает даже до корректной постановки основной проблемы культуры. Однако ларчик открывается просто: остроумие – результат сведения «мозга к паху», новоявленный фиговый листочек.

Нападая на «идею», Парамонов оказывается в компании с теми, кого он клеймит как идеологов (например, Толстым Л.Н. или Достоевским, автором легенды о Великом Инквизиторе), и становится в оппозицию к тем, кого насильно записывает в свои союзники (к тем же Пушкину и Чехову). Это был бы длинный разговор, к тому же разговор о *моей* концепции, поэтому ограничусь тезисами, разбросанными в статье.

Вернёмся к жидковатой философии Бориса Михайловича. В одном месте книги он проговаривается: «Я попытаюсь сейчас объяснить философию Лосева своими словами, без эйдологии и диалектики; самое смешное, что это вполне возможно». Самое смешное здесь то, что это *кажется* возможным. «Тёмные методологии» не интересуют Парамонова, его интересует исключительно свет, идущий от инстинктов, от «паха». Другими словами, самое смешное – дилетантизм мышления, идущий от установки на вторичность мышления. Гораздо важнее – знать, нежели понимать. Поэтому «фронт культуры» Парамонова – необъятен: от «какого-нибудь Антисфена», который «оказывается интересней и нужней Сократа», до Вуди Аллена и Тимура Кибирова. И Парамонов везде побеждает. За счёт поверхностности, отсутствия глупины, за счёт того, что не додумал до конца. Пирровы победы.

И вот здесь «парадоксалист» Парамонов оказался прав (я бы сказал, он перехитрил самого себя): та культура, которая ему кажется единственно возможной, которую он побеждает (культура произвольно творящего, субъективного, моделирующего сознания), действительно заслуживает критического рассмотрения (но опять же – не отрицания). Художественная культура, культура «искажения», должна быть осознана в качестве таковой. Но чтобы верно понять мотивы и сверхзадачу искажения, надо диалектически совместить его с объективным, научным, неискажающим познанием. Парамонов же, как «клоун» Лосев («Долгая и счастливая жизнь клоуна»), делает трюк: формально отрицает отрицание, не обогащая первое – вторым. Получается «дурное» отрицание. Боюсь, всё то, что я мог бы ещё сказать о бумерангах познания, будет творчески мыслящим человеком воспринято как «морализаторство» (в переводе с научного языка культуры на свой, родной, образно-символический; если на то пошло, ни эллина, ни иудея – а две культурные «породы»: какие-нибудь Сократ, Антисфен, Спиноза и т. п., с одной стороны, и легионы идеологов-художников – с другой. Но это так, к слову.). В той же работе сказано: «самую высокую культуру можно понимать как некую высокую клоунаду, то есть игру. Такие трактовки культуры неоднократно давались самыми высокими мыслителями человечества». Надо понимать: самоликвидация культуры, следовательно, разума – высшее достижение того же разума. Или: разум годится лишь на то, чтобы уразуметь, что всё в мире неразумно, некультурно. Вот, очевидно, роковой импульс и точка отсчёта (концептуальная «печка») умственных усилий Парамонова, подвигнувшие его на культурный хадж в Мекку психоанализа: разъяснить неразумным, насколько они, редуccionисты, мудры.

Скажите после этого, что Борис Михайлович не дружит с диалектикой. Здесь всё проще: он её не понимает. Перефразируя «вычеканенный» самим автором афоризм, перечеканю: любая мысль ценна ровно настолько, насколько она мысль. В сущности, Парамонов выполняет ту же миссию в культуре, что и Наташа Ростова: делает нашу жизнь не «лучше», но «более отвечающей замыслу о человеке» («Пантеон: демократия как религиозная проблема») – и, что важнее всего, делает это не путём познания, а путём эмпирического приспособления, типично женским, извилистым, внешне парадоксальным, а по сути ортодоксально-прямолинейным способом.

Откуда у автора такая деструктивная тяга к редукции и авторедукции в «фактичность», в эмпиризм, в «жизнь, к «серым рыбкам», вспять по эволюционной спирали, в зоологию (не в омут ли психоанализа меня опять заводит)?

Всякий очень культурный человек, а тем более человек, всю жизнь «по призванию» ковырявшийся на ниве культуры, не может не испытывать глубокого разочарования, глядя на выращенные им плоды. Даже у мастеров культуры – жалок результат, что уж говорить о рядовых тружениках, серых рыбах-с. Натурально, хочется плюнуть в морду культуре за профуканную жизнь. Культура – дура, вот и культуротворец чувствует себя в дураках. С кем поведёшься... «Что мне «это» дало?» – лежит в подтексте плевка. Чувствуешь – я бы семижды семи раз выделил это слово: не понимаешь, а чувствуешь – себя обманутым, словно жизнь, какая-то настоящая, завидно содержательная, прошла стороной, пока ты там ковырялся. «И вдруг мелькает мысль-заря: а может быть я и рифмую зря?» Это Маяковский. А вот Парамонов: «Вопрос ставится: а зачем романы писать?» («Рэпперы в Дарлингтон-холл»).

Другая жизнь проходит на какой-то другой ниве. Возникает желание свести счёты, разоблачить грандиозную мистификацию («сама культура «карикатурна»», там же, в «Рэпперах»), а на эту благую цель жизни не жалко. Мне отмщение, как бы, и аз вздам. Такова логика чувств.

Понимаешь-то совсем иное (если способен понимать: тут никакой репрессии): что никакого обмана и не было. Просто сама жизнь человека есть жестокая мистификация (по меркам человеческим, разумеется): вся культура есть отрицание белокурой бестии, но живёт эта самая культура именно за счёт бестиарности. Поняв закон жизни, ещё больше уважаешь культуру, ненавидя и любя. Словом, в своём святом гневе супротив культуры бывшие создатели культурных ценностей, культустрегеры, оказываются в положении этаких шалунов: малыш уж отморозил пальчик (или там что-нибудь ещё), ему и больно и смешно. У него «вава», рана, нанесённая культурой.

Еще раз повторю: и чувства естественны, и эмоциональная реакция на них. Неестественно одно – логика разума, которая тоже должна быть естественной, нормальной. Тот забавный факт, что «так нас природа сотворила, к противуречию склонна», можно, по принципу остранения, считать диалектикой. И тогда окажется, что мы ходим вокруг да около, не решаясь сказать главное: речь идёт о двух разных культурах – художественной и собственно научной, в основе которых лежат, соответственно, моделирующий и рефлектирующий типы сознания. В рамках культуры «художественной», обижающейся (несущей свою информацию на языке образов-моделей), остранение означает переход в иную «веру», со всем сознательным обнажением игрового момента такого перехода (по Спинозе «и плакать, и смеяться, и ненавидеть»); если же мы «остраниваем» одну культуру не другой верой в рамках одной культуры, а другой культурой, один язык культуры, образный, другим, абстрактно-логическим языком понятий, то мы тем самым переводим «игру» в план научный (по Спинозе: не плакать – а понимать), где смех является тем самым смехом без причины.

Парамонов (по большому счёту) говорит с нами языком моделирующего сознания, привлекая при этом материал (концепты), неподъёмный для «художества». Он, конечно, анализирует, что само по себе отдаёт наукой, но делает это литературно, даже художественно.

Вот меня и заинтересовал феномен Бориса Парамонова как человека, личности (выступающей за полезное обезличивание), остановившейся у последней черты: не у той черты, за которой кончается культура и начинается натура (этот сюжет затаскан и малопродуктивен в познавательном отношении, ибо весьма приблизителен, спекулятивен, напоминая что-то вроде: то ли он украл, то ли у него украли), а за которой кончается одно, моделирующее сознание (культура, если угодно), и начинается другое, рефлектирующее. Вся неоднозначность (читай амбивалентность) такой классически маргинальной позиции сказывается в том, что он, будучи вышколенным интеллектуальным постмодернистом, балансирует на грани мысли и чувства, на грани двух культур. Само по себе это ни хорошо, ни плохо. Плохо то, что он допускает (бес-

сознательно?) *подмену* одного сознания другим, анализ научный – «анализом», заказанным идеологией. И результат подобной как бы научной позиции, обрушивающейся на идеологию культуроцентризма (по задумке – на идеологию как таковую), – идеология культуроборчества. Над чем посмеешься, тому и послужишь. Результат серьёзных культурных усилий – всего лишь очередное художественно-идеологическое остранение.

Культурфилософская интенция книги – быть живым, живым и только, до конца. *Только* живым означает: *перестать быть культурным*, перестать думать. Вот тут-то и возникает сакраментальный вопрос: мастером какой культуры является Парамонов, какой культуре так страстно он сопротивляется, какую культуру предлагает он вынести ногами вперёд? Художественную? Научно-гуманитарную (находящуюся, кстати, в лежачем положении, когда её бить удобно, но не принято)?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.